

В ЛАБОРАТОРИИ УЧЕНОГО



М. Н. Вшивцева

СОВРЕМЕННОСТЬ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Одной из наиболее обсуждаемых в последние годы проблем является глобализация.

Сегодня, на рубеже XX–XXI веков, со всей очевидностью выявился тот факт, что завершение «холодной войны» и биполярного противостояния на мировой арене придало мощный импульс развитию процессов глобализации и прежде всего ее экономической основы. С прекращением противоборства двух социально-экономических систем – капитализма и социализма – глобализация превратилась в доминирующую тенденцию мирового развития.

Преобразование прежних структур и формирование общемировой целостности связаны с решением важнейшей функциональной задачи современности – обеспечением управляемости в новых масштабах: ширирь – на всем пространстве планеты; вглубь – на всех уровнях организации, от локального до всемирного. В новых требованиях к управляемости заключен ответ на эволюционный вызов перехода к качественно более сложному типу организации для всего человечества и его составных частей.

С политологической точки зрения проблема управления и управляемости является центральной. В течение веков и тысячелетий преобладали способы иерархического управления, а фактически – господства кого-то над кем-то, они соединялись с остатками простейших форм первобытной самоорганизации. Модернизация позволила культивировать эти формы, делать их все менее спонтанными и все более сознательными. Постепенно рефлексивное по природе самоуправление стало обгонять в своем развитии прямое и одномерное управление, включать его структуры в свою ткань. В отдельных частях мира или сферах деятельности начали формироваться гибкие и многообразные возможности целостной управляемости.

Глобализация начинает выявлять смысл и направленность этих процессов. Поэтому политическую глобализацию можно понимать и определять как «постепенное укрепление взаимодействия между нациями, цивилизациями и этнокультурами, ведущее к обретению взаимосвязанности и образованию структур глобальной

управляемости, которые интегрируют прежде разъединенные фрагменты мира и тем самым позволяют в ней (управляемости) соучаствовать»¹.

Углубленный и детальный анализ особенностей политического развития в современном мире в условиях глобализации в первую очередь настоятельно диктует необходимость определиться с сущностью и основным содержанием самого понятия «современность». Совершенно очевидно, что оно выступает, как минимум, в двух ипостасях. Во-первых, современность представляет собой радикальный революционный процесс. В таком ключе она разрывает все свои связи с прошлым и заявляет об имманентности по отношению к новой парадигме для мира и жизни. Она развивает знания и действия в форме научного эксперимента и, выдвигая человека и его потребности в центр истории, прокладывает путь к демократической политике. Везде – от ремесленника до астронома, от торговца до политика, в искусстве и религии – материальная сторона бытия, благодаря новой жизни, подвергается существенному реформированию. Однако это новое, отличающееся от предыдущего развитие одновременно приводит и к войне. Ведь столь радикальное преобразование неизбежно должно порождать и острое противостояние. Данная революция, как и любая другая, немедленно обуславливает появление контрреволюции. Последняя тоже быстро приобретает масштабный и всеобъемлющий характер: она выражается в многочисленных инициативах в культурной, философской, социальной и политической областях, которые в силу невозможности простого возврата к прошлому либо разрушения новых движений нацелены на то, чтобы подчинить их себе и использовать в своих собственных интересах.

Тем самым мы подходим к другой разновидности современности. Она возникает для того, чтобы вести войну против новых сил и покорить их всеми возможными средствами. Данный тип современности появился уже вместе с революцией Ренессанса и сразу же кардинально изменил ее направление. Он перенес новый облик человека в сферу трансценденции, релятивировал возможности науки в познании мира и воспротивился передаче власти в руки большого числа людей. Этот тип современности направил трансцендентно конституированную власть против имманентно конституированной, а порядок – против потребностей. В результате эпоха Ренессанса завершилась религиозной и гражданской войной.

Фактически, европейский Ренессанс впервые стал ареной борьбы за воплощение современности в жизнь. Распространение Реформации за пределы Европы оказалось вторым ураганом, последовавшим за первым, который упрочил альтернативные представления гуманистической культуры в религиозном сознании масс. Эта гражданская война затронула жизнь всех людей и проникла во все, даже самые сокровенные, уголки человеческой истории. На первый план вышла классовая борьба, которая привела путем возникновения капитализма к противостоянию в рамках единой логики креативности нового способа производства с одной стороны, и нового порядка эксплуатации с другой, заключавших в себе потенции как к прогрессу, так и к реакции. В этой битве гигантов заключался трагический конфликт генезиса современности.

Революция европейского модерна завершилась своим собственным термидором. В борьбе за гегемонию над парадигмой современности победу одержал ее второй тип и, следовательно, те силы, которые стремились

нейтрализовать революцию. И хотя просто вернуться к прежнему статус-кво оказалось уже невозможным, им все же удалось вновь основать идеологию подчинения и авторитета и сформировать новую трансцендентную власть, играя при этом на страхе и беспокойстве людей, их естественном желании сделать свою жизнь более спокойной и определенной.

В результате революция в обществе была остановлена. Если на протяжении всего XVI века ее плоды сверкали в своем полном блеске, то теперь все оказалось окрашенным исключительно в мрачные тона. На первое место выдвинулось требование мира – но какого мира? Когда в годы Тридцатилетней войны в сердце Европы в самой ужасной форме начали проявляться контуры необратимого кризиса, лучшие умы осознали необходимость термидора и мира, пусть даже жалкого и унижительного. Мир превратился в ценность, утратившую за короткое время свою гуманистическую сущность, посредством которой он указывал прежде путь к изменениям. Мир стал лишь условием простого выживания, внешним выражением стремления избежать смерти. Он носил скромный характер и демонстрировал усталость воюющих партий. Так контрреволюция одержала верх над революцией.

Однако этот термидор не привел к полному разрешению кризиса. Гражданская война не прекратилась, она лишь абсорбировалась в понятие современности. Ведь современность определяется через понятие кризиса, который, в свою очередь, можно дефинировать как непрекращающийся конфликт между имманентными, конструктивными и творческими силами с одной стороны, и трансцендентной властью, стремящейся восстановить прежний порядок, с другой².

Данный конфликт представляет собой ключ для проникновения в сущность современности, хотя его существование и трудно назвать безоблачным. Культурные и религиозные революции оказались скованы «по рукам и ногам» строгими ограничивающими структурами. В XVII веке Европа вновь стала феодальной. Первым и самым наглядным примером реакции явилась антиреформаторская деятельность католической церкви, которая понесла тяжелый урон вследствие реформ и революционных потрясений. Протестантская церковь и стоящие за ней политические порядки отступили под натиском установившегося контрреволюционного устройства. По всей Европе запылал огонь мракобесия и суеверия. Тем не менее движение обновления все-таки продолжало свою освободительную деятельность. Поскольку пространство для его функционирования резко уменьшилось, оно стало опираться на нomaдизм и библейский Исход, которые выражали потребность и надежды на получение собственного, никем не навязываемого опыта.

Внутренний европейский конфликт, с точки зрения современности, в глобальных рамках выражался как внешний конфликт. Развитие мышления Ренессанса совпало с открытием европейцами американского континента и установлением их господства над остальным миром. Европа открыла для себя окружающий ее мир. «Если и считать период Ренессанса качественным прорывом в истории человечества, – писал философ и политолог С. Амин, – то только потому, что с этого времени европейцы осознали, что покорение мира посредством цивилизации впредь может стать возможной целью... С этого момента впервые начал выкристаллизовываться евроцентризм»³.

На одной чаше весов находился гуманизм Ренессанса с его революционными представлениями о равенстве всех людей, их своеобразии и общности, которые находили живой отклик у тех сил и отражались в тех стремлениях, которые распространились по всему земному шару и существенно укрепились после открытия других стран и народов. На другой чаше собрались не менее мощные контрреволюционные силы, которые пытались взять под контроль создающие и разрушающие силы внутри Европы для того, чтобы осуществить этим возможность и необходимость подчинить другие народы европейскому господству.

Евроцентризм возник как определенная реакция на возможность нового появления равенства всех людей, он представлял собой контрреволюцию в глобальном масштабе. Упомянутый выше второй тип современности вновь взял верх, однако и на этот раз не окончательно. Следовательно, применительно к Европе современность всегда представляла собой войну на двух фронтах. Соответственно господство европейцев над другими находилось в перманентном кризисе.

Все эти события не такой уж давней по масштабам человеческого бытия истории позволяют лучше осмыслить сегодняшнюю политическую ситуацию, главная особенность которой в условиях глобализации состоит в противоборстве *глобальной демократии* и *глобального террора*. Вспомним вновь о печальных событиях 11 сентября 2001 года. Весь мир прильнул тогда к экранам телевизоров, на которых раздавались взрывы, рушились здания, лежали мертвые и раненые люди. Телевизионное изображение и реальная действительность смешались самым драматическим образом. Человечество почувствовало себя беззащитным от всепроникающего террора.

11 сентября продемонстрировало США их уязвимость перед лицом проявляющегося в новой форме глобального насилия и стало своего рода поворотным пунктом в рассуждениях, касающихся ненависти и насилия. Мы всегда знали, что мир груб и жесток, но тем не менее ощущали себя достаточно защищенными. Теперь мы поняли, насколько мы беззащитны. Сентябрьская атака пилотов-смертников вынудила американцев, да и не только их, глубоко задуматься о корнях терроризма и вообще о том, что происходит сейчас в мире.

В свою очередь это рождает общие точки соприкосновения для движений в защиту гражданских прав, действующих во всем мире. Растущий интерес мировой общественности к вопросам антиамериканизма и насилия неизбежно ведет к дебатам глобального характера, центральными темами которых являются власть, демократия и бедность. Самую тесную взаимосвязь всех этих проблем наглядно показывает развитие политической ситуации на Ближнем Востоке.

Вообще, понятие «терроризм» требует по отношению к себе крайне осторожного обращения. Фактически на сегодняшний день не существует ни его единой дефиниции, ни его точного разграничения с другими формами насилия, включая и войну. То, что для одних является терроризмом, другие называют освободительной борьбой. Смертники, взрывающие себя в автобусах, магазинах, на дискотеках и т. д., выглядят в глазах многих арабов и палестинцев героями – борцами за свободу, в то время как израильское правительство однозначно рассматривает их как террористов. Соответственно расстрел палестинских демонстрантов или разрушение домов в секторе Газа во время военных операций израильской армии трак-

туется палестинцами как терроризм, а жителями Израиля – как необходимая самооборона.

Аналогичную картину можно наблюдать и в других странах. В Индии вооруженные люди в штате Кашмир рассматриваются государством как террористы, а в глазах тысяч кашмирцев и пакистанцев они выглядят участниками борьбы за национальное освобождение. В Колумбии контингент «эскадронов смерти» у бедняков считается террористами, в то время как элита видит в нем защитников страны.

Подобно войне, терроризм представляет собой насилие, используемое в политических целях и сознательно направленное против мирных граждан. Государства же, ведущие войны с террористами, в свою очередь рассматривают жертвы среди гражданского населения лишь как неизбежный «побочный эффект» этих военных действий. Таким образом, получается, что политические интересы завязанных в конфликтах партий или идеологические установки в конечном счете определяют, жертвами чего можно считать погибших людей – терроризма, освободительной борьбы либо национальной самообороны. Хорошей иллюстрацией к данному тезису могут служить результаты опроса, проведенного в 2002 году в Саудовской Аравии. Свыше 95 % образованных граждан этой страны назвали Бен Ладена исламским борцом за свободу, в то время как в США его почти все считают убийцей и террористом⁴.

«Локальные конфликты» тоже носят смертельно опасный для человечества характер. К тому же в их рамках трудно провести грань между террористической и другими формами насилия, поскольку все они преследуют политические цели и влекут за собой жертвы среди мирного населения.

Введение единого определения терроризма, которое было бы признано всеми нациями и закреплено в системе международного права, безусловно, означало бы важный шаг вперед. Сегодня, к сожалению, нельзя с очевидностью утверждать, что этому будут способствовать объявленная США «война против терроризма» и усилия, проявляемые Организацией Объединенных Наций. То, что многими американцами рассматривается как необходимое насилие в войне против терроризма, жителями Ближнего Востока и других «горячих» точек воспринимается в качестве терроризма как такового.

Таким образом, война против терроризма в глобализованном и идеологизированном мире легко может привести лишь к дальнейшему росту террора и насилия. А само понятие «терроризм», поскольку оно четко не определено ни теоретически, ни практически, следует использовать с большой осторожностью.

Глобализация приводит к появлению и росту насилия там, где в силу нее люди постоянно страдают от бедности. И даже в тех странах, где она не является причиной бедности в прямом смысле, глобализация порождает новое явление – сознание бедности. В каждом из беднейших кварталов Каира, Карачи, Манилы или Бангкока можно встретить босоногих детей, жадно прильнувших к экранам телевизоров, чтобы заглянуть в блестящий мир богатства и красоты. На них постоянно обрушиваются сверкающие огни рекламы товаров, которые они никогда не смогут купить.

Тем самым, выставляя богатство напоказ, глобализация трансформирует бедность. Богатые в глазах бедняков выглядят предателями. Бедные

удивляются и сокрушаются по поводу своей судьбы, подобно тому как богатые благодарят бога за то, что не живут в этих ужасных условиях.

Не случайно в современной социологии появился термин «относительная депривация». Действительно, человеку легче переносить бедность, если он видит, что его окружают такие же бедняки. Глобализация посредством телевидения и других средств массовой информации сближает богатых и бедных, после чего последние начинают ощущать свою бедность гораздо острее. Они сравнивают свое положение уже не с положением соседей, а с положением тех, кого они видят на телеэкранах или, например, с жизнью владельца фабрики, где проходит их трудовая деятельность. Такая «относительная депривация» причиняет человеку немалые страдания и дает толчок недовольству, гневу, а затем насилию и террору.

В подтверждение данной мысли можно привести слова президента Южно-Африканской Республики Т. Мбеки, сказанные им на конференции ООН незадолго до событий 11 сентября 2001 года: «Фундаментальной причиной конфликтов в мире является сегодня социально-экономическая депривация миллиардов людей по всему земному шару и ее сосуществование с островками благополучия и роста внутри и вне стран»⁵.

В подобной ситуации следует, вероятно, подумать о возможности принятия глобального «нового курса», по аналогии с тем, что было сделано в США во время правления президента Ф. Рузвельта в конце 20-х – 30-е годы XX века. Тогда в условиях Великой депрессии доля безработных и бедняков составляла не менее 25 %. Сегодня, когда глобальный экономический спад охватил большинство государств третьего мира, депрессия здесь проявляется в еще более резких формах: от Гаити до Зимбабве и Индонезии на безработных и малоимущих приходится от 50 до 90 %. И люди здесь не имеют возможности избрать президента, который, подобно Ф. Рузвельту, взял бы на себя решение их самых насущных проблем.

Во время операции американских войск в Афганистане против отрядов движения «Талибан» молодой местный портной В. Адель заявил репортеру газеты «Нью-Йорк Таймс», что главной проблемой его страны является бедность, в результате которой миллионы афганцев вынуждены страдать от голода. По его мнению, ненависть к Западу сохранится у них и после свержения режима талибов, до той поры пока «образование не станет возможным для всех, а не только для богатых... Нам необходимо общество равных для всех, как для бедных, так и для богатых»⁶. Еще более недвусмысленно высказался его 27-летний коллега А. Хан: «Нам нужны улицы и фабрики, потому что у нас так много безработной молодежи. Если у нее нет работы, она хватается за оружие»⁷.

В настоящий момент нельзя исключать возможность того, что в силу повышенных стратегических интересов США в данном регионе Афганистан получит для своего восстановления некий новый план Маршалла. После формирования в Кабуле нового центрального правительства было обещано выделить стране миллиарды долларов в качестве экономической помощи. США риторически назвали ее частью антитеррористической стратегии. Их поддержали политические лидеры многих государств, по мнению которых без решения проблемы бедности новый режим в Афганистане долго просуществовать не сможет. Похожие стратегические соображения можно высказать и в отношении Пакистана, столь же бедного, как и Афганистан, однако при этом обладающего ядерным оружием.

Поэтому роль тех международных программ, которые направлены на оказание помощи и развитие стран третьего мира, исключительно велика. Однако при этом следует постоянно прислушиваться к тому, как воспринимается эта помощь, поступающая с Запада, бедными нациями, не рассматривают ли они ее как своеобразный откуп, как вынужденную меру самосохранения. В противном случае эффективность всех предпринимаемых действий с политической точки зрения будет невелика.

Подобные усилия должны предприниматься прежде всего различными международными организациями под руководством ООН, в которой бедные государства имеют свое представительство и голос и которая опирается на поддержку США, других богатых стран и международных концернов. Ведь именно мировая экономика, преследующая цель победить бедность во всем мире, может сыграть ключевую роль в ликвидации глобального насилия. Американский политолог и публицист У. Ледер вскоре после событий 11 сентября написал: «Мы все еще сражаемся против бедных, голодных и разгневанных людей с помощью бомб и танков; а они были бы нам благодарны за еду и воду, хорошие улицы, медицинское обеспечение и хоть какое-то уважение к их религии и культуре»⁸.

Геополитическая ситуация, сложившаяся в настоящее время на Ближнем и Среднем Востоке, особого оптимизма не внушает. Сейчас в мире существует около 50 мусульманских государств. Только в пяти из них – Турции, Бангладеш, Сенегале, Сьерра-Леоне и Суринаме – сформировались относительно демократические режимы. Но они представляют собой скорее исключение из общего правила и лишь еще раз доказывают, что ислам и демократия несовместимы.

Видная исследовательница ислама Ш. Хантер писала по этому поводу: «На протяжении всей человеческой истории религии всегда подчинялись политике и подстраивались под ее интересы»⁹. Правда, другая признанная в области исламоведения исследовательница – К. Армстронг – категорически отвергает идею о несовместимости ислама и демократии. По ее мнению, в странах Запада церковь и государство тоже не всегда были отделены друг от друга, а в исламских обществах традиционно велись дискуссии между либералами и консерваторами по поводу того, насколько секуляризованным должно быть государство. Эту точку зрения разделяет Б. Барбер, который указывает на то, что в исламе прочно укоренились понятия «сообщество», «противоположность», «общественные интересы» и пр., ставшие затем неотъемлемой частью демократических представлений на Западе¹⁰.

Тем не менее, в подавляющем большинстве мусульманских стран сегодня существуют авторитарные режимы правления. В Албании, Гамбии, Индонезии, Ливане и Нигерии идет процесс формирования демократических многопартийных систем, однако и здесь население не участвует в процессе принятия политических решений. Еще примерно в 20 государствах – Алжире, Египте, Йемене, Узбекистане, Туркменистане и др. – в той или иной форме проводятся не прямые выборы, однако сколько-нибудь существенного влияния на власть они не оказывают. Иордания, Кувейт, Малайзия и Марокко представляют собой традиционные монархии, где существующие парламенты играют исключительно совещательную роль. А Бахрейн, Бруней, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты являются абсолютными монархиями, где парламентов

нет вообще. Сирия и Ливия, до недавнего времени Ирак управляются военными диктатурами. В результате получается, что большая часть территории земного шара возглавляется не демократическими силами, а разного рода королями, шейхами, эмирами, султанами и военными диктаторами.

С точки зрения большинства американских политиков и руководителей гигантских нефтяных концернов, демократизация политических режимов стран Востока не играет слишком большой роли. По этому поводу французский исследователь проблем мира Ш. Бризар заметил, что «зависимость Соединенных Штатов Америки от поставок нефти из Саудовской Аравии и импорта вооружения туда представляет опасность для всего западного мира»¹¹.

Таким образом, борьбу с этим глобальным злом следует вести не только посредством войны, как это практикует сегодня президент США Дж. Буш. Победу над терроризмом можно одержать только путем создания коалиции всех государств мира, усилия которых будут направлены в одном направлении: преодоление дефицита демократии в собственной стране.

В условиях глобализации современные демократии представляют собой парадоксальную картину. С одной стороны, развитие институциональной структуры либеральных демократий продвинулось далеко вперед и достигло глобально признанного масштаба, вполне соответствующего удавшейся модернизации. Распространение демократических режимов по всему миру является несомненным свидетельством привлекательности этой модели.

Но, с другой стороны, «триумфальное шествие» демократии сопровождается некой растерянностью в плане того, каким способом можно преобразовать ее нормативные основы в институциональные, которые после перехода к народовластию придают пониманию нормативных основ соответствующую институциональную форму и, следовательно, воплощают их на практике. Особенно в современных западных демократиях становится все менее ощутимой субстанция, составляющая материальное ядро демократического самосознания: в форме чего суверенитет народа находит свое конкретное выражение.

Другой парадокс либеральной демократии в условиях глобализации заключается в том, что ее притязания, носящие универсальный характер, опираются на определение политического сообщества, сфера действия которого ограничена культурными или этническими рубежами. Национальное государство исторически доказало свою способность устанавливать социальные рамки для демократических институтов и формировать соответствующие принципу легитимности правовые отношения между индивидами и политическим сообществом. А недостатки, присущие национальному государству, и вытекающие отсюда нормативные последствия не могут перевесить его исторические достижения, которые заметны уже при первом взгляде на устройство современных демократий.

Правда, германский политолог О. Шмидтке ставит под сомнение актуальность данного утверждения в контексте реальной ситуации, сложившейся под влиянием глобализации. В связи с этим он указывает на две основополагающие тенденции, которые, по меньшей мере, ставят под вопрос неоспоримость претензий национальных государств на определение границ для политического сообщества и относящихся к нему суверенных

и демократически легитимированных прав. Первая из них заключается в тех социальных изменениях, которые происходят в национальных государствах Запада в связи с культурно-этнической плюрализацией, а вторая – в структурных изменениях различных форм политического авторитета и социально-экономической власти¹².

По поводу первой тенденции следует заметить, что странам Запада действительно присуща высокая степень внутреннего культурно-этнического плюрализма, что окончательно лишает убедительности миф об идентичности национальности и государственного сообщества. Вследствие постоянно растущей миграции и социальной мобильности даже в самом самопонимании национальных государств Европы ставится теперь под сомнение «естественный» характер границ их политических сообществ, обусловленный идеей культурно-этнической гомогенности.

Прошедшие недавно в Германии оживленные дебаты, посвященные проблеме «немецкой доминирующей культуры», довольно сомнительной самой по себе, тем не менее отчетливо продемонстрировали, на какие трудности наталкивается любая попытка определить содержание доминантной национальной культуры. В условиях глобализации как идеи идентифицирующей принадлежности к любому сообществу, так и социальная практика все больше эмансипируются от национально-государственных рамок.

В политической науке в 90-е годы прошлого века появилась даже специальная теория «транснационализма», авторы которой стремились доказать, насколько мало конгруэнтны сейчас между собой политическое, определяемое как национально-государственное, и социальное пространства¹³. Несмотря на то, что их рассуждения на данную тему весьма абстрактны и стоят вне исторического контекста, вряд ли можно сомневаться в том, что процесс отделения политического и социального пространства друг от друга вступил в новую стадию. Теперь уже отнюдь не только для относительно малочисленной элиты характерна общественная подвижность между различными национальными пространствами. В условиях интегрированной Европы в особой степени транснациональность, детерриториализация сферы социальных действий ведут к укреплению жизненного опыта, многократно разделенного между множеством индивидов. Этот опыт противостоит идее культурно-этнической гомогенности как основному механизму функционирования политического сообщества, являющемуся реликтом XIX века.

Вторая из вышеназванных тенденций, связанная с изменениями в тех структурах, которые во многом определяют всю жизнь граждан, тоже ставит под вопрос претензии национального государства выступать в качестве эксклюзивного пространства для функционирования демократии. Ведь центральная идея демократии, организованной по национально-государственному принципу, заключается в том, что национальные режимы правления призваны и, соответственно, наделены властью формировать жизненные условия граждан, подчиненных национально-государственному авторитету.

Конститутивная привязанность демократии к национальному государству базируется сегодня на идее, что в устроенном таким образом политическом сообществе политические отношения поддаются оформлению, но одновременно с этим нуждаются в легитимизации¹⁴.

Однако именно эта важнейшая предпосылка для демократического самопонимания представляется теперь, в условиях интернационализированных отношений, утратившей свой смысл: процессы различного характера и их участники, в которых, собственно, и отражаются условия жизни людей, уже далеко перешагнули национально-государственные границы и тем самым ушли от политико-регулирующего авторитета, приписываемого национальным режимам правления. Из национально-государственного контекста давно выпали многие структуры экономической и политической власти.

В Европе основополагающий процесс реорганизации политической власти и властных институтов происходит с 70-х годов XX века¹⁵. Центральное место в этом процессе занимает постепенное отделение экономических решений от политического авторитета демократически санкционированных властных структур. Транснациональные концерны добились решающего влияния на весь комплекс народного хозяйства отдельных национальных государств, причем их власть все в большей степени обретает иммунитет от попыток национальных правительств оказать на них регулирующее воздействие. Такие международные организации, как Мировой валютный фонд, Мировой банк и даже в определенной степени Европейский союз, особенно их управляющие органы, тоже все дальше уходят от демократической легитимности, хотя от их политической власти зависит жизнь миллионов людей.

В свою очередь, это напрямую затрагивает самую сердцевину понимания сущности национальных демократий: если демократия в своей основе базируется на идее, что формирование условий жизни человеческого коллектива должно опираться на консенсус и принцип разделения власти, которым подчиняется политическая власть, то интернационализация капитализма и структур политической власти делает ее реализацию невозможной. Финансовые потоки, а с ними и авторитет, который они генерируют, неуклонно отдаляются от регулирующего вмешательства национально-государственных органов власти, которые призваны выражать волю населения своих стран. При этом с диффузией экономической и политической власти национальных государств вовсе не происходит расширения и дифференциации демократической практики, которая могла бы легитимировать их в классическом смысле этого слова¹⁶.

В подобной ситуации неизбежно встают вопросы, на каких основаниях национальные государства в ходе научных и политических дебатов все еще могут постоянно претендовать на статус эксклюзивного поля действия для своих политических сообществ и, тем самым, для принципов демократического самоопределения политических сообществ и их политических функций.

Изучение научной дискуссии на тему социальных условий современных демократий в период глобализации позволяет обнаружить явное противоречие: несмотря на очевидность глубоких изменений различных форм политического авторитета и всеми признанную частичную потерю национальным государством своего значения, национальному по-прежнему отводится решающая роль в качестве рамок для политического. Но в соответствии с известным изречением «третьего не дано», никакой промежуточной стадии между национальным сообществом и неприемлемой для

демократии международной ареной или сообществами, ведомыми узкими групповыми интересами, нет и быть не может.

Непоколебимая убежденность в цивилизирующей и обеспечивающей демократию силе национального государства проявляется и в ходе дискуссии по поводу внутренней культурно-этнической плюрализации, а также трансформации политической власти в интересах транснациональных центров.

Ввиду всего вышесказанного можно констатировать, что структурные изменения в политике, происходящие в условиях глобализации, вызывают ответную реакцию в форме канонизации национально-государственного сообщества и демократической модели. При этом размышления о природе и масштабах политического сообщества могут раскрывать новые перспективы дальнейшего расширения поля действия для политической практики. К сожалению, в современной политической науке проявляется нередко сбивающаяся с толку тенденция отделять критическое описание демократии от ее конкретной институциональной практики. В ответ на вызовы, поступающие от массовых демократических движений, либо происходит консервация сложившегося положения либеральных, организованных на основе национального государства демократий, либо следует простая перестановка абстрактных, а отсюда и бедных в концептуальном плане моделей космополитической демократии. Хотя в подобной ситуации, если подумать с фантазией о форме и величине политических сообществ и связанных с ними новых институтах коллективного волеобразования, то вполне можно открыть новые многообещающие возможности для дальнейшего развития демократической практики.

Пока многим политологам явно не хватает глубокого понимания того, что денационализированный процесс обобществления может породить качественно новые формы правления и институционального представительства политической власти, уже не вписывающиеся в систему координат той модели демократии, рациональность которой зиждется на суверенных национальных государствах в качестве основной предпосылки. Возможность появления в рамках данных изменений нового в субстанциональном плане определения отношений между государственной властью и гражданским обществом не укладывается в традиционный образ мыслей тех авторов, кто стремится спасти демократию, защищая неприкосновенность национальных политических сообществ. В таком случае идее демократии угрожает опасность перестать быть исторически вариативной формой коллективного самоопределения и законсервироваться в намертво вмерзшей в национальное государство и либеральные варианты демократии институциональной практике.

Последствия такого интеллектуального дискурса, не преследующие какой-либо конкретной политической цели, простираются тем не менее достаточно далеко: чем больше за национальным государством закрепляется компетенция по решению различных проблем, которая вместо политической практики выводится из абстрактных, грешащих ошибками рассуждений о национальном сообществе, тем дальше институты либеральных демократий будут отстраняться от обязанности осуществлять критическую саморефлексию. В итоге национальное государство, наделенное регалиями «естественного» превосходства, и его представители в полной мере могут чувствовать себя главными защитниками демократии. Имен-

но это имел в виду германский политолог К. Вольф, когда писал о форме государственного разума, которая представляет собой серьезную проблему для демократии в масштабах всего мирового сообщества¹⁷.

Центральное место в рамках данной перспективы занимает отчужденность институтов либеральных демократий вследствие их неспособности эффективно реагировать на последствия денационализации и смены властных структур общества. Непоколебимая фиксация роли государства и эксклюзивная ссылка на понятие национального сообщества, абсолютно абстрагированные от политической практики, резко сужают пространство для конкретных форм самоопределения. Одним из результатов подобной трактовки является почти полное уничтожение того радикально-демократического импульса, которому, собственно говоря, и приписывается постулат о «власти народа». Остается лишь надеяться, что в условиях глобализации в гражданском обществе в большем масштабе разовьются фантазия и мужество, посредством которых смогут политически утвердиться разнообразные формы демократического самоопределения и усилится сопротивление по отношению к господствующим структурам.

¹ Ильин М. Политическая глобализация: институциональные изменения // Грани глобализации. Трудные вопросы современного развития. М., 2003. С. 194–195.

² См.: Hardt M., Negri A. Empire. Die neue Weltordnung. Frankfurt, 2002. S. 90.

³ Amin S. L'Eurocentrism. Critique d'un ideologie. P., 1988. S. 53.

⁴ См.: Derber C. One world. Von globaler Gewalt zur sozialen Globalisierung. Hamburg, 2003. S. 227.

⁵ New York Times. 2001. 11 Sept. S. B2.

⁶ Weiner T. A Bazaar Is Newly Abuzz and the Talk Is of a New Era: After the Taliban, What? // New York Times. 2001. 29 Nov. S. B5.

⁷ Ibidem.

⁸ Boston Globe Magazine. 2001. 15 Okt. S. 12.

⁹ Hunter T. Clash of Civilizations or Peaceful Coexistence. Westport, 1998. S. 166.

¹⁰ См.: Barber B. Jihad vs. MeWorld // Foreign Affairs. 2001. Januar/Februar. Vol. 80, Nr 1. S. 209.

¹¹ Цит. по: Boston Herald. 2001. 10 Dec. S. 6.

¹² См.: Schmidtke O. Globalisierung, Demokratie und die Heiligsprechung des Nationalen // Das Ende der Politik? Globalisierung und der Strukturwandel des Politischen. Münster, 2003. S. 161.

¹³ См., напр.: Jacobson D. Rights Across Borders: Immigration and the Decline of Citizenship. Baltimore, 1996; Pries L. Transnationale Soziale Räume. Theoretisch-empirische Skizze am Beispiel der Arbeitswanderungen Mexiko – USA // Zeitschrift für Soziologie. 1996. Nr. 25. S. 437–453, u. a.

¹⁴ Schmidtke O. Op. cit. S. 162.

¹⁵ См.: Weiler J. The Constitution of Europe «Do the new clothes have an emperor»? and other essays on European integration. Cambridge, 1999. S. 76.

¹⁶ См.: Greven M., Pauly L. Democracy Beyond the State? The European Dilemma and the Emerging Global Order. N. Y., 2000. S. 158.

¹⁷ См.: Wolf K. Die Neue Staatsräson. Zwischenstaatliche Kooperation als Demokratieproblem in der Weltgesellschaft. Baden-Baden, 2000.